

КРАСЮКОВА НАТАЛЬЯ

* * *

И плотва приплывала, касаясь июльских кувшинок,
и подолгу стояла в дремучей вечерней реке.
Мы мечтали, что станем однажды большими-большими
и уедем отсюда. Но вот мы – живём на Оке.

Нам казалось, из Репинки детства мы вышли на берег
и вернули песку все ракушки из тёплой руки.
И нахлынул камыш, и вода заросла и не верит,
что ушли навсегда загорелые люди-мальки.

Известняк и ветла, вы стоите у самого края,
вы молчите так долго, что знаете нас наизусть.
И когда чешую по-живому с кого-то сдирают,
он приходит к реке, и она отдаёт бирюзу.

За какие слова, за какие дела и делишки
ты прощаешь всех нас как больших сухопутных детей?
И река замерла и как будто вопроса не слышит.
И круги от июльских кувшинок идут по воде.

* * *

сентябрь вполне подходит для
неутешительных итогов.
молчишь, как под дождём земля,
многозначительно и строго.

и мал балкон для этих дум,
молочных, выпавших под вечер.
в две тысячи каком году
ты станешь голосом и речью?

пространство сузится вот-вот
до влажной тени на реснице.
сентябрь вполне спасает от
желания проговориться.

* * *

Льнянка в цветник отправляет павлиний глаз:
«Милый Лилейничек, как ты живёшь, мой свет?
Есть ли ещё у августа дни для нас
или пора клониться к сухой траве?»

Жёлтый Лилейник лимонницу шлёт в ответ:
«Милая Льняночка, нам ли бояться сна?
Я становлюсь прозрачнее на просвет,
я обращаюсь к тучам по именам.

Всё водянистей день и смелее мрак.
Вот он, мизинчик лета, его предел.
Тонкая нота последнего комара
в воздухе держит нашу земную Л».

Листья большого дуба укроют лес.
Всё, что пришло к молчанью, хранится здесь.

* * *

На кухне шпрехает яичница,
стреляя в безоружных маслом,
а он стоит и не колышется,
по-гумилёвски куртуазный,
в зелёной тройке, тонкий, матовый,
июнем пересотворённый.

И я кажусь себе Ахматовой,

клонясь к раскрытому пиону.

* * *

Возвращаешься в мир, где пейзаж состоит из равнин,
где на девять часов отстаёт от режима будильник,
зазевавшийся август копирует летние дни,
кроме тех, где медведицы возле палаток бродили.

Да и сами палатки теперь на балконах, пусты,
в затяжном сновиденье, где лёг вулканический пепел.
Одомашнив людей на клочке литосферной плиты,
охраняют их ночь у хребта монохромной планеты.

А поднимешь глаза на дымок – и цементный завод
не рифмуется здесь с Ключевской, Безымянным, Эбеко.
Возвращаешься в мир, где не видно ни сопки, и вот
всё никак не проснёшься другим, городским человеком.

* * *

под аркой проходили трубы,
курила бритая шпана.
светя потомкам саблезубых,
в кустах елозила луна.
осоловелые подъезды
спускали ниже козырьки,
и целый мир стоял от бездны
на расстоянии руки.

вот безвременье постковида,
перемывание костей,
вот света белого не видно
за камуфляжем новостей.
в обрывки старых объявлений –

слои застывшей бересты –
луна, бесцветный неврастеник,
глядит, надравшись в лоскуты.

бесплотно (или беспилотно?)
дробится жизни полоса,
и город чёрным кашалотом
ревёт в небесный оверсайз.
шныряют через арку люди,
срезая путь от А до Б.
но кто же будет, кто там будет
сидеть, как раньше, на трубе?

* * *

Декабрь уместается в зрачок,
когда погасишь свет и смотришь в окна.
Стоишь за шторой, зная, что ещё
не поздно лечь, как гусеница, в кокон
из одеял. И думать, в потолок
подняв глаза раскрытые – привычка,
о том, что день был холоден и строг,
но даже в нём – и свет, и щебет птичий.